

МАРРОКА¹

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привлекавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утехами, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: «Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел». Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши любовные силы и все способности

¹ Рассказ «Маггоса» был впервые опубликован 2 марта 1882 года в журнале *Gil Blas* под псевдонимом Мофриньёз (Maufrigneuse) и впоследствии вошел в первое издание сборника «Mademoiselle Fifi» («Мадемуазель Фифи», 1882).

физических ощущений — от простого соприкосновения рук до той невыразимо-властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, могут ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеализмом, наконец платонизмом, я в этом сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пылание воздуха, эти душливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспаляют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире. Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабийские леса; дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фанта-

стическими окровавленными каменными великанами, именуемыми «Calanche de Piana».

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых склонах высокой, увенчанной лесом горы. Это — белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковатых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любят друг друга, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия — город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота, сплошь заросшие плющом. И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины — части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху — терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сиесту. Это удушливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынь, когда все спят или по крайней мере пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды.

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в костюме Гасана, но не мог отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином прибрежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гниlostны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я пытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их кололо изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час. Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

Кругом никого; все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды — так неподвижно было море, казалось оцепеневшее под солнцем. И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонувших в молчаливом море, я услышал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую девушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной как стекло воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.

Вдруг она обернулась, вскрикнула и, то всплавь, то шагая, мгновенно скрылась за скалою.

Она должна выйти оттуда, поэтому я сел на берегу и стал ее ожидать. И вот она осторожно высунула из-за скалы голову с массою тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.

Она крикнула мне:

— Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился. Она прибавила:

— Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук «р» в ее устах перекатывался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двинулся. Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

— Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком, и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза, по фамилии Понтабез. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько,

какую именно должность он занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не спрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака — совершать сиесту в моем доме. И что это была за сиеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блестели страстью; полураскрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных божествах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь ее взбухала в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотой, она питала отвращение даже к самым легким покровам и расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытаясь наконец любовью, измученная воплями и дви-

жениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от удушливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда в полнолуние громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и заливая с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменили место и укладывались снова в томной теплоте отдыхающего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Марока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она нисколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас видеть, и часто, презирая мои мольбы и опасения, испускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые вдали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

— Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

— Как это — к тебе?

— Ну да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

— К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы.

— Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И «р» слова *сохранилась* еще долго с шумом потока звучало в скалах.

Я никак не мог постичь ее мысль. Она обвила руками мою шею.

— Когда тебе вскоре придется уехать, — сказала она, — я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все *ррре, ррри, ррра* казались в ее устах раскатами близкой грозы.

Тронутый, да и развеселившись, я прошептал:

— Но ты сумасшедшая. Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей: это мышеловка, в которую постоянно попадают дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя.

— Ты посмотришь, как я буду тебя любить.

Посмотрришь прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая с наслаждением обманывает ненавистного человека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

— Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

— О нет, он очень добр.

— Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

— Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое сердце.

Я совсем уже ничего не понимал, и, пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

— Ты пррридешь, не пррравда ли?

Однако я не соглашался. Тогда она немедленно оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

— Пррридешь ли ты сегодня вечеррром ко мне спать? Если нет, я уйду.

Восемь дней — это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. «Да!» — крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия.

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока ка-

залась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

— Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился, как у себя.

Признаюсь, я был немного смущен, даже неспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату, вместе с ворохом остальной моей одежды, и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой мужской голос прокричал:

— Маррока, это я!

Она вскочила.

— Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

— Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принеся с собой какой-то предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и, так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: «Не могу найти спичек», — а затем вдруг: «Нашла, отпирраю!» И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услышал поцелуи, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

— Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него картечью гневных «р».

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение — тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

— Ты злющая сегодня, — сказал он.

Но примирился с этим:

— До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен. Смиренный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и, пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосно-

вения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил.

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бегали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

— А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? — спросил я.

— Опасаться было нечего, — отвечала она.

— Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

— Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

— Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда... хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: «Я обожаю тебя», прошептала:

— Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

— Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый палец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестя-

щие и хищные, — все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левою рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

ВОР¹

— Да говорю же вам, что этому никто не поверит.

— Все равно расскажите.

— Охотно. Но прежде всего я должен уверить вас, что история эта правдива во всех своих подробностях, какой бы невероятной она ни казалась. Одни художники не удивились бы ей, особенно старые художники, знавшие эту эпоху безумных шаржей, эпоху, когда дух шутки свирепствовал до такой степени, что неотступно преследовал нас даже при самых серьезных обстоятельствах.

И старый художник сел верхом на стул.

Дело происходило в столовой гостиницы Барбизона.

— Итак, — продолжал он, — мы обедали в тот вечер у бедняги Сориеля, ныне умершего, самого отчаянного из нас. Обедали только троим: Сориель, я и, кажется, Ле Пуатвен; но не решаюсь утверждать, что это был он. Говорю, разумеется, о маринисте Эжене Ле Пуатвене, также умершем, а не о пей-

¹ Рассказ «Le Voleur» был впервые опубликован 21 июня 1882 года в журнале *Gil Blas* под псевдонимом Мофриньёз (Maufrigneuse) и впоследствии вошел в расширенное издание сборника «Mademoiselle Fifi» («Мадемуазель Фифи», 1883).

зажигаете, благополучно здравствующем в расцвете таланта.

Сказать, что мы обедали у Сориеля, — значит удостоверить, что мы были пьяны. Только Ле Пуатвен сохранял еще разум, правда слегка отуманенный, но еще ясный. В то время мы были молоды. Растянувшись на коврах в маленькой комнатке, смежной с мастерской, мы вели сумасбродную беседу. Сориель, развалившись на полу и положив ноги на стул, толковал о сражениях, разглагольствовал о мундирах времен Империи; внезапно он поднялся, достал из большого шкафа с бутафорскими принадлежностями полную форму гусара и надел ее на себя. Затем он принудил Ле Пуатвена переодеться гренадером. А так как тот противился, мы схватили его, раздели и всунули в огромный мундир, в котором он совершенно потонул.

Я оделся кирасиром. Сориель заставил нас проделать какое-то сложное передвижение. Затем он воскликнул:

— Так как сегодня мы рубаки, то будем и пить, как рубаки.

Пунш был зажжен и выпит; затем пламя вторично вспыхнуло над миской с ромом. Мы распевали во всю глотку старые песни, те самые песни, которые когда-то горланили солдаты великой армии.

Вдруг Ле Пуатвен, который, несмотря ни на что, еще владел собою, заставил нас умолкнуть и после нескольких секунд молчания сказал вполголоса:

— Я уверен, что кто-то прошел по мастерской.

Сориель, с трудом поднявшись, воскликнул:

— Вор! Какое счастье!

Потом затынул «Марсельезу»:

Сограждане, на бой!